

будет слава за истинно олимпийское мужество, не сдавайтесь, земной вам поклон от матери родины и всего мира...»⁷

В Анне Владимировне жила поэтическая душа, она вела дневниковые записи, писала стихи:

...Прости мне, друг!
Но вдохновенье есть,
Везде и всюду и среди людей
Души не выдержать
Той оболочки малой,
Летит куда-то ввысь,
Летит все к небу, к небу...

Наверное, традиции творчества Серебряного века так живучи, что продолжают вековать, увлекая, завораживая своей искренностью и откровением новые поколения, как эти строки Дмитрия Цензора:

И нет границ меж красотой и злом.
Печаль везде томится беспредельно,
В улыбке глаз, в признании родном.

И сладко мне отдаться ей бесцельно.
Я всех люблю и каждого отдельно,
Живу душой в ничтожном и святом...

Большой писатель и поэт всегда обладают не только совестью, но и большими идеями, которыми они увлекают, выразив их своим художественным словом. Человек всегда будет страдать, радоваться, мыслить, стремиться к гармонии. Его всегда будет будоражить мысль о вечном возвращении, мысль об ощущении мига ясности и радости. Ничто, никто никуда не уходит, все возвращается, все, в сущности, остается, как прежде. Ибо новых форм так мало, как и качеств.

О каждом упомянутом здесь человеке можно сказать: прохожий жизни моей; прохожий, который прошел трудный путь до избранной цели и наконец, кажется, достиг ее, постиг суть пути-дороги, оставил трогательное воспоминание, тронул душу своим словом, поступком, действием, молчанием...

РЕЦЕНЗИИ

САМЫЙ СТРАШНЫЙ «НОЧНОЙ КОШМАР» ИОСИФА БРОДСКОГО

Ася Пекуровская. «Непредсказуемый» Бродский. Алетейя, СПб.: 2017.

...Говорят, он вошел в Саламанку,
да она в него не вошла.

Дон Габриэль дель Корраль, перевод Павла Грушко

Эта книга привлечет внимание как недоброжелателей, так и поклонников Иосифа Бродского. Дело здесь в нескольких значимых моментах, главным из которых я бы поставил ее научность, что призвано создавать комфортное ощущение объективнос-

⁷ Там же. Ф. 531. Оп. 1. Д. 234. Л. 4.

ти — автор окончила филологический факультет ЛГУ, в 1970-х — аспирантуру в Стэнфорде, преподавала там русский язык и литературу, и все ее предыдущие книги написаны в жанре деконструктивистской критики, то есть их основная задача — разрушение стереотипа и/или включение в новый контекст.

В этом смысле последняя из написанных Асей Пекуровской книга «„Непредсказуемый“ Бродский», где прилагательное, взятое в кавычки, не столько цитируемое из некоего первоисточника определение, сколько синоним в ряду «прогнозируемый, ожидаемый», может считаться монографией. Я бы назвал именно этот жанр литературной критики, поскольку автор на протяжении 230 страниц бьет с разных точек в одну цель-мишень, которую она определяет уже в предисловии: «Я демистификатор. И мой источник вдохновения — в изъяне. Но под изъяном я понимаю, скорее, не дефект сказанного, написанного, помысленного, а то, что, как правило, не попадает в поле зрения читателя: аллюзии, оговорки, совпадения, авторские гримасы, высокие мотивы и цели, эмфатические отрицания, т. е. все то, что лишает текст подпитки, говоря языком Лакана».

Как «демистификатор», автор верна себе, переходя от одной написанной ею книги к другой. Практически та же позиция заявлена в издательской аннотации к одной из предыдущих книг Пекуровской «Герметический мир Иммануила Канта»: книга посвящена в числе прочего «демистификации кантовских парадоксов». С тем же вектором и 600-страничная «Страсти по Достоевскому: Механизмы желаний сочинителя», вышедшей в «НЛО» в 2004 году.

Сразу хочу сориентировать читателя: речь не идет в нашем случае о принадлежности к течению, допустим, «новая критика» (по названию книги «The New Criticism» Джона Рэнсома), которая занимается глубоким погружением в структуру повествования, исследованием символики и образной системы, при этом абсолютно не интересуясь ни личностью автора, ни общим историко-социальным контекстом. Напротив, и в этом — другой момент, который притягивает читателя не меньше, чем научная объективность: нередко сквозь вязкий, местами терминологически перегруженный критический дискурс «„Непредсказуемого“ Бродского», проскальзывают личностные, биографические фрагменты, некая женская заинтересованность и понятная вовлеченность, ведь автор книги Ася Пекуровская — бывшая жена Сергея Довлатова, возлюбленная Василия Аксенова и «муза Ленинграда шестидесятых», как ее характеризуют в предисловии к интервью в питерской интернет-газете «Бумага»¹.

Что же касается взаимоотношений Пекуровской и Бродского, то общеизвестно его анонимное упоминание о ней в эссе «О Сереже Довлатове. „Мир уродлив, и люди грустны“»: «Это была зима то ли 1959-го, то ли 1960 года, и мы осаждали тогда одну и ту же коротко стриженную, миловидную крепость, расположенную где-то на Песках. По причинам слишком диковинным, чтоб их тут перечислять, осаду эту мне пришлось вскоре снять и уехать в Среднюю Азию. Вернувшись два месяца спустя, я обнаружил, что крепость пала».

Кстати, уже после его смерти Довлатов также был «демистифицирован» Пекуровской в книге «Когда случилось петь С. Д. и мне» (по мысли автора, название рифмуется с пастернаковской строкой «Когда случилось петь Дездемоне»). Научного в книге было немало, но и личного — хоть отбавляй. От впечатлений о внешнем облике («Когда-то в молодости на Сережин вопрос о том, как я себе его представляю, я, не задумываясь, ответила: „Как разбитую параличом гориллу“») до «о гениальности Довлатова и речи быть не может»².

¹ Анна Косинская. Первая жена Сергея Довлатова — о Петербурге сегодня и сорок лет назад. <http://rarepaper.ru/asya/>

² Ася Пекуровская. Когда случилось петь СД и мне.

Собственно, почему Бродский также не вошел в список гениев по версии Аси Пекуровской, насколько он предсказуем — этому в значительной степени и посвящена ее книга: «Когда я писала «„Непредсказуемого“ Бродского», я перевела какие-то его стихи — те, что еще не были переведены: написанные по-русски — на английский язык, написанные по-английски — на русский. При переводе возникает какой-то интимный контакт с автором. Но и в этом случае чувства гениальности Бродского у меня не возникло. Может быть, потому, что к тому времени уже прочла очень недодуманную, но такую модненькую его прозу? Нет, я не считаю его гением...»³

В конце концов, кого считать гением, а кого нет — дело каждого. Пекуровская доказательно отстаивает свою позицию, о чем скажу ниже, но здесь необходимо отметить, что наличие само по себе такого рода критики — знаковый, важный момент, и не только в бродсковедении. По поводу Бродского написаны тома панегириков; оды еще, по-моему, нет, но славословия и дифирамбов более чем достаточно. На этом фоне, нравится это мне, преданному почитателю Бродского, или не нравится, критические, нередко крайне субъективные статьи и рецензии, мемуары и отрицательные оценки просто необходимы. Можно не соглашаться с удручающей, в общем, статьей Солженицына о мастерстве Бродского, где один нобелевский лауреат сожалеет, что другого нобелевского лауреата прежде времени освободили из ссылки, но в ней есть любопытные, литературоведческие, хотя и нехвалебные для творчества Бродского пассажи. Поэтому такие работы, как мне кажется, просто необходимы. Равно как и критический взгляд на Бродского и его поэтические труды писателя Владимира Соловьева, знавшего поэта и по Ленинграду, и по Нью-Йорку. И ряд других публикаций в этом духе, без которых русская культура бесповоротно получила бы еще одно «наше все» и «солнце русской поэзии XX века».

Не будь трехтомной скандальной биографии Лорэнса Томпсона о классике современной американской поэзии Роберте Фросте, культурология и сегодня продолжала бы безоглядно канонизировать философа-фермера и сельского мудреца из провинциального Нью-Гемпшира. То же касается и Уистона Одена — его стихи на родине популярны по-прежнему, но отношение в литературных кругах остается противоречивым. «Я рад, что этому г..ну пришел конец», — заявил знаменитый британский романист Энтони Пауэлл, когда Оден ушел из жизни в 1973 году. Негативное мнение о поэзии Одена американского поэта и литкритика Рэндалла Джаррелла, одиннадцатого поэта-лауреата США (между десятым и двенадцатым — Уильямсом Карлосом Уильямсом и Робертом Фростом), сыграло немалую роль в понимании поздней поэтики Одена. До войны «трансатлантический Гораций», как называл его Бродский, раздражал критиков правого толка своей поддержкой марксизма, а переехав в США, разочаровал и левых, которые не могли понять, как поэт-марксист может уехать за границу и отказаться воевать с фашистами. Правда, страсти в этом лагере улеглись, когда Оден женился на дочери Томаса Манна Эрике, дав возможность еврейке выехать из нацистской Германии.

Из двух основных англоязычных стран в США Бродский снискал уважение и доверие, войдя в американский литературно-либеральный истеблишмент, но оказался под шквалом критики в Великобритании («Бродского-поэта любили в Англии немногие, хотя и нежно. И даже любящие: сэр Исайя Берлин, Шеймус Хини, Джон ле Карре, Клайв Джеймс, Алан Дженсинс, Глин Максвелл любили его с большими оговорками, любили скорее обаятельного и умного собеседника, чем поэта...»⁴). Боль-

³ Владимир Желтов. Сережа — из породы бродяг. <https://nvspb.ru/2014/09/03/sereja-iz-porody-brodyag-55286>

⁴ Валентина Полухина. Литературное восприятие Бродского в Англии. <http://www.stosvet.net/9/polukhina/>

шую часть из написанного им по-английски — и эссе, и поэтические тексты, и переводы — многие английские интеллектуалы не приняли, оценив как старомодное (эссе) и беспомощное (поэзия) — у английского филолога и переводчика Дэниела Уайсборга; «великую американскую катастрофу» — в статье о сборнике «Урания» первого английского поэта Кристофера Рида. Или у одного из ведущих английских поэтов и критиков Крейга Рейна: «репутация, подвергнутая инфляции».

Как пишет известный бродсковед Валентина Полухина, которая исследовала творчество Бродского вдоль и поперек, «Доналд Дэви полагает, что Бродский настолько перегружает свои стихи тропами, что не дает словам дышать... Знаменитый критик и поэт Алфред Алварец убежден, что Бродский не понял сути английской поэтики... Энн Стивенсон автопереводы Бродского кажутся просто банальными... Пьер Леви считает Бродского второстепенным поэтом, плохим имитатором Одена»⁵.

Эти высказывания и авторитетные мнения дезавуируют «миф Бродского», приглушают блеск его виртуальных бронзовых и мраморных постаментов, созданных адептами, фанатами и безапелляционными последователями; позволяют без лишних умиления и восторга оценить с разных сторон одного из самых значимых, великих русских поэтов XX века.

Западная традиция нелицеприятной критики в последнее время становится нормой и в критике российской. Книгу Аси Пекуровой имеет смысл рассматривать в этом ракурсе. Ее опорная, отправная точка подталкивает сюжет в сторону детективного романа: автор пытается ответить на известный вопрос, многими оставленный без ответа. Не секрет, что личные и семейные бумаги в архиве Бродского закрыты на пятьдесят лет, а в письме, приложенном к завещанию, Бродский просил не публиковать его письма и неизданные сочинения. Иными словами, вход в личную жизнь посторонним на долгие десятилетия запрещен. Бродский дает понять почему: «Вольно или невольно (надеюсь, что невольно) Вы упрощаете для читателя представление о моей милости. Вы — уже простите за резкость тона — грабите читателя (как, впрочем, и автора). А, — скажет французик из Бордо, — все понятно. Диссидент. За это ему Нобеля и дали эти шведы-антисоветчики. И „Стихотворения“ покупать не станет... Мне не себя, мне его жалко»⁶.

Что скажет «французик из Бордо» — одному Богу известно, а все остальное со ссылками на политическую реальность и некое диссидентство сказано в общем и туманно. Чего же опасается Иосиф Бродский? Что хотел скрыть великий поэт, запретив прикасаться к архиву в течение 50 лет после его ухода из жизни? «Меня давно занимал вопрос: почему наши современные кумиры еще до смерти создавали именные фонды с уставами и табу? — пишет Пекуровская. — Неужели кумиры эти не догадывались, что уход за «заветной тропой» требует бесконтрольной свободной мысли?»

Словно гончар, колдующий над вращающимся гончарным кругом и придающий ладонями симметричную форму глиняному кувшину, критик Пекуровская подводит читателя к единственно логичному, с ее точки зрения, выводу: Бродский делал все возможное, чтобы не развалился его авторский миф, не распалась его мемориальная стратегия, которую он выстраивал и до, и после отъезда из СССР. Он предусмотрительно все сделал для того, чтобы она работала и после его смерти. Деконструкции мифа о себе — вот чего боялся нобелевский лауреат, запрещая вход в свой архив на полвека.

⁵ Там же.

⁶ Яков Гордин. Рыцарь и смерть, или Жизнь как замысел: О судьбе Иосифа Бродского. М.: Время, 2010.

Чтобы эту стратегию выстроить и провести в жизнь, убеждена Пекуровская, Иосифу Бродскому нередко приходилось подражать выбранным образцам и быть имитатором — как в жизни, так и в литературе. Здесь крайне важно отметить: Пекуровская прекрасно понимает, что такое «интертекст», и отдает себе отчет, что в наше время постмодерна реминисценция, оммаж, пастиш давно являются общепринятыми приемами, а иллюзорность эпитетов «гениальный» и «самобытный» объявлялась многократно. «Более того, — сообщает критик Бродского, — нам придется снять патину негативности с таких эпитетов, как „подражательный“, „имитаторский“, „эпигонский“, „миметический“. А это значит, что об авторской спонтанности, то есть оригинальности, уникальности, нужно будет говорить лишь в контексте авторского умения скрыть или, наоборот, выпятить сам факт копирования».

Безусловно, в книге речь идет о двух разных Бродских. Один, до отъезда в 1972 году, которого Пекуровская прекрасно знала: богемный, амбициозный и в то же время неуверенный в себе молодой человек, следовавший полюбившемуся ему Одену в поэтических текстах и в манере поведения. Нелюбовь Одена к сборищам, отмеченную еще его переводчиком и другом Бродского Андреем Сергеевым, молодой Иосиф повторил почти вслепую: он появлялся позже других и уходил одним из первых. Можно, безусловно, говорить об определенной позе «загадочного поэта», который и этим хотел показать свою особость и надмирное чувство скуки, но тут Пекуровская добавляет ложку дегтя: «Наряду с Бродским и чаще, чем Бродский, наши сборища посещали и другие „яркие личности“: Евгений Рейн, Анатолий Найман, Сергей Довлатов, наездами Василий Аксенов. Почему же они не порывались преждевременно уйти, а комфортабельно досиживали до позднего часа? Не потому ли, что обладали даром, которым не обладал Бродский? Возможно, они были балагурами и умели развлекать общество, тем самым развлекая и себя?.. Продуманность взятых на себя поз и масок могла не быть уникальным свойством Бродского. Но уникальным было уважение к позе».

Подражание Одену, видимо, должно было как-то компенсировать комплексы Бродского. Среди них, из комплексов, — известный «донжуанский список», созданный по типу списка пушкинского («Донжуанский список я тоже составил: примерно восемьдесят дам», — на что Пекуровская со знанием дела отвечает: «Все, абсолютно все — вранье! Я даже представить себе не могла успеха, о котором он говорил»)⁷.

Несамостоятельность, согласно Пекуровской, была присуща Бродскому в ряде его известных позиций. К примеру, категорическое неприятие Фрейда — потому что Фрейда не любила Ахматова, «и то, КАК Ахматова объясняла свою нелюбовь, отложилось в его памяти как научный факт». А «к мыслям о „Памяти У.-Б. Йейтса“ Одена Бродский пришел в изгнании. Под влиянием этих мыслей и, конечно же, смерти Элиота в 1965 году он пишет стихи „В память Элиоту“ (1966?), подражая Одену, который, как известно, подражал Йейтсу...»

Читая книгу Аси Пекуровской, поначалу чувствуешь определенную неловкость от фраз, вроде «переводчик чужих мыслей», «нес околесицу» и прочее, но постепенно к этому привыкаешь. Особенно в тех главах, которые посвящены Бродскому после отъезда.

Я наблюдал в Нью-Йорке совершенно другого Бродского: едва он начинал говорить, вокруг него собирались многочисленные слушатели, он фонтанировал идеями и поражал эрудицией. Уже одно его присутствие рядом для любителей литературы, как русско-, так и англоговорящих, было счастьем и редкой удачей. Ему не нужно

⁷ Владимир Желтов. И Бродский, и Довлатов были очень амбициозны. <http://gazetastrela.ru/2015/03/03/i-brodsjkij-i-dovlatov-byli-ochen-ambiciozny/>

было делать ровным счетом ничего, чтобы привлечь к себе внимание, поскольку авторитет его был высочайшим, а достижения — олимпийскими.

Впрочем, мой опыт общения с ним ограничивается двумя-тремя личными встречами и несколькими его публичными выступлениями. Не берусь судить, насколько в жизни он был не тем, кем казался со стороны. Во многом именно этому, при такой расстановке акцентов, и посвящена книга Пекуровской. Публикуясь в самых престижных западных изданиях и издательствах, будучи высокоценным в профессиональной среде, Бродский, как суперлитературная звезда, имел возможность одним телефонным звонком решать судьбы литераторов и их творений. Он восседал на Олимпе, писал пером, вырванным из крыла Пегаса, пил воду исключительно из источника Гиппокрена, но тем не менее ежедневно трудился над выстраиванием образа западного профессора-интеллектуала и реноме гениального поэта. При этом он имитировал массу внешних знаковых атрибутов начиная от одежды и привычек (к примеру, одевался, как Оден, и курил сигареты марки LM, как Оден; в беседе с В. Полухиной, фрагмент которой приводит Пекуровская: «Вы знаете, дело в том, что я иногда думаю, что я — это он (Оден. — А. П.). Разумеется, этого не надо говорить, писать, иначе меня отовсюду выгонят и запретят») до известной традиции ежегодно посвящать стихотворение Рождеству, которую перенял предположительно у обожаемого им Роберта Фроста.

В книге по-научному вездливо препарируется ряд текстов Бродского — с параллельно указанными заимствованиями, от Ходасевича, Мандельштама, Цветаевой до Джона Донна и современных, первого ряда, американских поэтов XX века.

Однако эта «предсказуемость» — никак не открытие из ряда вон. Опять-таки представление об интертексте, да и сказано об этом уже немало той же В. Полухиной: «Все, что было заимствовано из английской поэзии, это был образ романтического героя, Байрон... когда я у него спрашивала о влияниях, он говорил: „Навалом — и ни одного“. Когда я указывала на какие-то конкретные случаи, он говорил: „Валентина, посмотрите на Александра Сергеича — он крал справа и слева и все делал своим“. Он знал себя хорошо. Он отказывался говорить о своих стихах, но прекрасно понимал, что делает, потому что ум у него был аналитический. И когда что-то у кого-то брал, он знал, для чего он это брал. Кроме того, не забывайте: он преподавал поэзию столько лет — это невозможно делать, не перенося на себя. И если вы составите список тех, кого он преподавал, это все поэты, родственные ему, поэты, у которых он чему-то научился и которым он благодарен. Будь то Рильке, Цветаева, Оден, Фрост, Харди. Это в каком-то смысле его поэтические родители».

Иными словами, ради того, чтобы скрыть от потомков некие литературные «заимствования», Бродский вряд ли запрещал бы открывать архив в ближайшие 50 лет. Как говорится, «секрет Полишинеля», и, видимо, проблема здесь в другом. Во время написания этой рецензии я побеседовал с поэтессой Мариной Темкиной, много лет лично знавшей Бродского и бывшей его неофициальным литсекретарем. По поводу «непредсказуемости» Бродского ее мнение совпадает с позицией Аси Пекуровской: «...„непредсказуемый“ — это частично его поза, претензия на исключительность, мифотворчество; частично его подростковая противительность, оппозиция, нонконформизм ко всему „принятому“. Я уже некоторое время обсуждаю эту проблему на конференциях. Он совершенно предсказуемый, если рассматривать содержание его наследия в перспективе этнической и гендерной идентификации, т. е. истории русского еврея и его семьи, и специфики творчества «белого» (очень хотел ассимилироваться в англо-саксонца) мужчины-европейца между войнами. Его поведение, творческое и человеческое, сформировано многочисленными стилистическими

и поведенческими образцами „отцов“. Бродский был ребенком войны, второй год жизни провел в блокаде, эта травма определяет его психику, выбор занятий и поведение. О Бродском вообще трудно говорить, потому что он „наше все“. Он диссидент и патриот, жертва режима и герой оппозиции, он и про Христа и еврей, и не просто, а мрамор эллинистический; он рыжий с логоневрозом и большим сердцем, тип вечного еврея-странника и неутомимый путешественник, международная знаменитость и уличный мальчик (спичку о подошву зажигает, „смолит“ как паровоз) и обедает „черт знает с кем во фраке“. Вообще, надо сказать, что советское „общество светлого будущего“ было сугубо патриархальным, все держалось на иерархии силы, власти „отцов“, и мифологизация творческих процессов — его неотъемлемая часть в романтизме, как и в модернизме. И Бродский как бы остался таким вечным „сыном“ всего этого....»

Судя по книге «„Непредсказуемый“ Бродский», этого и опасался великий поэт — того, что его сочтут «советским», потомком «отцов» в самых разных смыслах, несмотря на многолетние усилия быть и казаться/выглядеть по самым высоким западным образцам. Об этой «советскости» пишет в недавно опубликованных мемуарах «Без купюр» Карл Проффер, основатель издательства «Ардис» и многолетний друг Бродского в Америке. Прочитав заметки Проффера, Бродский приложил немало усилий, чтобы они не были опубликованы, пригрозил начать в противном случае судебный процесс, но в отличие от собственного архива не мог их после своей жизни к публикации запретить.

Например, в своих мемуарах Проффер пишет, что, общаясь с Бродским и интеллектуалами из его окружения, он был крайне удивлен неприятием ими как догмы главного постулата либерализма — о свободе слова. Таким образом, Проффер дает читателю понять, что во время политических дискуссий на российских кухнях имел дело с советскими людьми, в которых западное мышление и не ночевало. Да, они были «антисоветчиками», но, по сути, это было зеркальным отражением их «советскости». То, о чем писал Довлатов: «После коммунистов я больше всего ненавижу антикоммунистов».

Это никак не соответствовало тому образу, который Бродский тщательно создавал на Западе, отрешившись от своего имперства и «советского поэта» Евгения Евтушенко, замалчивая тему высылки в деревню Норенское, говоря о предотъездном письме генсеку, перейдя в немалой степени на английский язык в эссе и поэзии (всему, здесь перечисленному, Ася Пекуровская уделяет в книге внимание и посвящает отдельные главы). Столько десятилетий трудиться над имиджем, биографией, карьерой — и в результате узнать о провале отлично продуманного, уже при жизни единственно верного исторического плана. «Бродский был человеком с большими комплексами, неуклюжим, косноязычным, застенчивым, а потому — довольно высокомерным, — сообщает Пекуровская. — Если Довлатов чего-то не знал, он благодаря природному чувству юмора мог себя представить героем-неудачником. Для Бродского признать себя хоть в чем-то неудачником — большая трагедия».

Видимо, в этом и состоял главный «ночной кошмар» Бродского, связанный онтологически с андерсоновской притчей о «Голом короле». Никто не должен знать о том, о чем написал Проффер, никто в ближайшие 50 лет не должен проникнуть в архив, в котором — не в тщательно продуманных эссе, речах и выступлениях, а в частной переписке, «заметках на манжетах» и случайно вырвавшихся искренних репликах — могут обнаружиться многочисленные следы того самого Бродского, человека из убогого, задавленного несвободами имперского СССР, потомка еврея из местечка Броды.

Так подробно об этом, с фактами и свидетельскими показаниями, цитатами и логически выстроенными доказательствами, Ася Пекуровская говорит в бродсковедении, по-моему, впервые. «Бродский-мифотворец, кажется, сознательно направлял свои усилия к тому, чтобы расширить свою аудиторию, верно полагая, что она, скорее всего, клюнет именно на созданный им миф, нежели на «изящную словесность», под которой он, не иначе как из мифотворческих целей, подразумевал только поэзию, — делает выводы Ася Пекуровская. — Ведь даже такие знатоки его творчества, как Лосев, Волков или, скажем, Гордин (автор предисловия к „Диалогам“), кажется, охотнее говорят не о феномене Бродского, поэта от Бога, а о мифическом персонаже энциклопедических знаний, афористичной и острой мысли, наконец, о создателе мифа о себе, т. е. обо всем том, что было учтено в ходе присуждения Бродскому желанной „Нобельки“».

В этом плане, очевидно, и надо рассматривать эпитет в кавычках «непредсказуемый» к фамилии поэта в названии книги. Он в немалой степени был создателем собственного успеха и был им избалован. Поэтому нетрудно предсказать, что, став суперзвездой среди западных интеллектуалов, самой главной его заботой при жизни, равно и в нобелианском бессмертии, было всему этому соответствовать. Прежде всего — образу либерала, что, судя и по заметкам знаменитой лево-либералки Сьюзен Зонтаг, посвятившей ИБ свой сборник «Под знаком Сатурна», не всегда Бродскому удавалось.

Как известно, Историю пишет последний. В своей тщательно прописанной истории Бродский хотел быть и первым, и последним. После него всем остальным «историкам» в праве на отделение зерен от плевел было отказано. Канонический образ был создан на века, и никто не должен восприятию этого образа помешать.

Предполагаю, что книгу Аси Пекуровской реальный человек и большой поэт Иосиф Бродский с радостью бы запретил, как и книгу воспоминаний Карла Проффера и иже с ними. В этом плане нам всем повезло, поскольку сегодня мы можем представлять Бродского не только по той модели, которую он скрупулезно создавал, но и по тем книгам, которые показывают нам другого, «непредсказуемого» Бродского. А уже каждому принимать решение самостоятельно: иметь дело с тщательно охраняемым памятником или же с реально существовавшим человеком, у которого были не только потрясающие достижения, но и досадные промахи, не только уверенность в своей правоте, но и вполне объяснимые сомнения. Дело житейское, хотя в случае нобелевского лауреата Иосифа Бродского — никак не частное.

Геннадий КАЦОВ